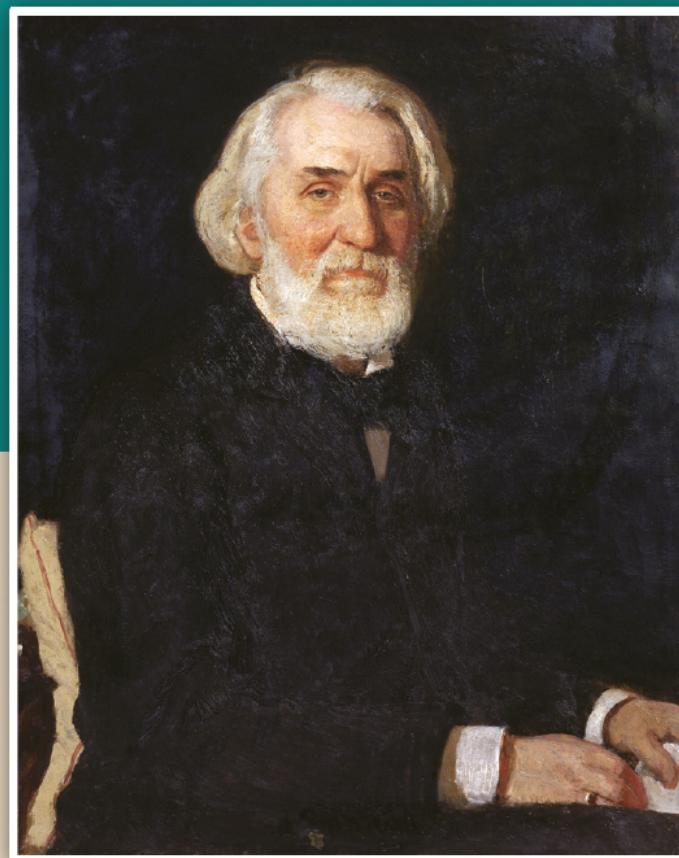


# ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

## Пьесы



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

И ВАН ТУРГЕНЕВ

Русская классическая библиотека

Иван Тургенев

**Записки охотника.  
Рассказы. Пьесы**

ТД "Белый город"

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)1

**Тургенев И. С.**

Записки охотника. Рассказы. Пьесы / И. С. Тургенев — ТД  
"Белый город", — (Русская классическая библиотека)

ISBN 978-5-00119-020-2

Творчество великого классика русской и мировой литературы XIX века И. С. Тургенева удивительно многообразно — рассказы, повести, романы, пьесы, стихотворения в прозе. В настоящее издание вошел знаменитый цикл рассказов «Записки охотника», появившихся в печати на рубеже сороковых и пятидесятых годов XIX века, первое по времени большое произведение И. С. Тургенева, принесшее ему славу одного из лучших пейзажистов мировой литературы. Помимо рассказов в сборник включены пьесы И. С. Тургенева. Драматургия составляет особую и существенную часть творческого наследия писателя, создавшего свою драматургическую систему и оказавшего заметное влияние на развитие русской драматической литературы и театра. Тексты, вошедшие в сборник, составленный известным российским литературоведом, доктором филологических наук, профессором Д. П. Ивинским, сопровождаются его развернутыми научными комментариями, им же подготовлена развернутая вступительная статья о творчестве И. С. Тургенева.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-00119-020-2

© Тургенев И. С.  
© ТД "Белый город"

## Содержание

Д.П. Ивинский	6
Записки охотника	21
Хорь и Калиныч	21
Ермолай и мельничиха	28
Малиновая вода	34
Уездный лекарь	39
Мой сосед Радилов	44
Однодворец Овсянников	48
Льгов	58
Бежин луг	65
Касьян с Красивой Мечи	76
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Иван Сергеевич Тургенев

## Записки охотника

## Рассказы. Пьесы

Д.П. Ивинский  
Иван Сергеевич Тургенев

На первый взгляд, судьба Тургенева сложилась исключительно счастливо. Он стал тем, кем хотел стать – литератором, оказывающим влияние на состояние умов, на жизнь общества, формирующим вкусы и отчасти идеологию. Он застал пушкинскую эпоху как недавнее прошлое и успел увидеть Пушкина и Жуковского, познакомиться с Гоголем. В дальнейшем оказался причастен ко всем основным эпизодам русской литературной жизни. Он общался с Белинским, Герценом, Некрасовым, Островским, Гончаровым, Толстым, Фетом, Достоевским. Он избежал крайностей душевного ожесточения и умственной лени, оставшись русским барином и сделавшись просвещенным европейцем. В числе его европейских собеседников те, для кого он был единственным русским писателем, достойным их внимания и дружбы, – Мопассан, Золя, Флобер. Почти все, написанное им, было напечатано при его жизни, и многое из этого напечатанного навсегда вошло в сферу русского культурного сознания и оказало влияние на социальную психологию нескольких поколений.

Наряду с этими благополучными и даже блестящими обстоятельствами в жизни Тургенева было много иных, оставшихся для публики скрытыми или полускрытыми: любовь к Полине Виардо, неким странным болезненным испытанием растиравшимся на всю жизнь и ставшая одним из источников его «сомнений и тягостных раздумий», острое переживание неустроенности и даже недовоплощенности русской жизни, идеальное содержание которой сплошь и рядом оказывалось рассеяно в ее неосновательных надеждах на переустройство, на полноту, на избавление от эгоизма и жестокости; наконец, мучительная болезнь, унесшая его жизнь и как бы подтвердившая неслучайность скрыто-трагического ее характера.

Именно о неслучайной двойственности существования говорят его произведения.

\* \* \*

Не думаю, что читателям было бы легко вспомнить автора этих стихов, и вряд ли первая ассоциация была бы именно с автором «Записок охотника» и «Отцов и детей»:

Божественная ночь!.. Луна взошла;  
Печально смотрит на седые стены,  
Покрыв их серебристой дымкой света.  
Как все молчит! О, верю я, что ночью  
Природа молится Творцу... Какая ночь!  
Там вдалеке сребрится Тибр; над ним  
Таинственно склонились кипарисы,  
Колебля серебристыми листами...  
И Рим лежит, как саваном покрыт;  
Там все мертвое и пусто, как в могиле;  
А здесь угрюмо дремлет Колизей,

Чернеясь на лазури темной неба!<sup>1</sup>

Между тем это, конечно, Тургенев, отрывок из его драматической поэмы «Стено» (1834), в которой ее немногочисленные читатели справедливо усматривали слабое и запоздалое подражание Байрону, а впрочем, не отказали подражателю в некоторой литературной одаренности. Вот еще небольшой фрагмент:

А я... проклятый,  
Остался здесь. И с этих пор напрасно  
Я душу сильную, великую искал.  
Все это так ничтожно перед нею.  
С своими мелкими страстью людьми  
Мне опротивели. Мой мир мне опустел,  
А этот мир мне тесен был. Во мне  
Восстало гордое желанье, чтобы  
Никто моих страданий не узнал,  
И я вступил в борьбу с своей судьбою,  
И если я паду – тогда узнают люди,  
Что значит воля человека. Низко  
Поставили они название это,  
И я хочу его возвысить – несмотря  
На то, что люди этого не стоят.

Итак, природа, напоминающая человеку о Творце, время, смерть, пугающая и примиряющая одновременно, борьба с судьбою во имя обретения чувства причастности к сверхсмыслам существования, величие души, воля, страдание и гордость – темы, столь важные для европейской культуры и уже во многом усвоенные – пусть и на разной глубине – русским классицизмом, сентиментализмом, романтизмом... Эти темы останутся в числе наиболее глубоких тем Тургенева, счастливо избежавшего незавидной участи эпигона. Но в ряду этих тем есть и другие, еще более важные, устремленные к последним вопросам бытия.

Во-первых, это тема преодоления материального мира, устремленность которого к небытию указывает душе, косвенно причастной тайне мира, спасительный выход за пределы обретенного существования:

Но нет! Когда я полные тоскою  
На небо очи подымая – мне  
Все еще веет чем-то дивным, светлым  
От синего его шатра. Я знаю,  
Мне говорит мой ум, что за могилой  
Нет ничего, что все, что я желал,  
Что все, что я мечтал, – обман и сон.  
Но что-то есть во мне, какой-то  
Неслышный голос – он мне говорит,  
Что моя родина не здесь. Скажи,

---

<sup>1</sup> Здесь и далее произведения И.С. Тургенева цитируются по изданиям: Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1–30: Соч.: Т. 1–12: Письма: Т. 1–18: 2-е изд., испр. и доп. / Редкол.: М. П. Алексеев (гл. ред.) и др. М.: Наука, 1978–2012 (АН СССР; РАН. Институт русской литературы [Пушкинский дом]). Изд. писем не завершено, последний вышедший том – 15(1); Тургенев И.С. Записки охотника / Изд. подготовили А.Л. Гришуин, В. А. Громов, А. М. Долотова, Л. Н. Смирнова. М., 1991 (Литературные памятники).

Скажи мне, небо, о, зачем так светло,  
Там высоко стоишь ты над землей.  
В мою истерзанную грудь желание  
Брыкается к тебе, к тебе лететь,  
И я горю, и что же? Бренной цепью  
К земле прикован я – и нету сил  
Ее порвать могучею рукою...  
Как я смешон с моим умом!<sup>2</sup>

Надежда или даже уверенность в том, что разум, противостоящий мечтам, слабее таинственного тихого голоса, звучащего в душе, слабее интуиции, говорящей о чудесном, что душа помнит о высшем, что сомнение будет преодолено, что за пределами земной жизни человек встретится и примирится с Творцом – все эти мотивы получат подробную разработку в тургеневской «реалистической» прозе. Ср., напр.: «Царь сидит с своими воинами в темном и длинном сарае, вокруг огня. Дело происходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в раскрытые двери и вылетает в другие. Царь замечает, что эта птичка, как человек в мире: прилетела из темноты и улетела в темноту, и недолго побыла в тепле и свете... “Царь, – возражает самый старый из воинов, – птичка и во тьме не пропадет и гнездо свое сыщет...” Точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо» («Рудин»); ср. еще: «Какое бы страстное, грехшное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...» («Отцы и дети»).

О «смешном» разуме приходится вспомнить не только в связи с романом о нигилисте: эта тема у Тургенева исключительно серьезна и распространяется на такие остающиеся обычно «закрытыми» душевые состояния, которые связаны с трагическим переживанием необратимости времени и неотменимости поступка, вбирающих обычно некоторое мистическое содержание<sup>3</sup> и не подлежащих специальному анализу или подробному обсуждению, ср.: «Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, – увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать – и пройти мимо» («Дворянское гнездо»).

Во-вторых, это тема любви, связанная и с преодолением материального, и с его очарованием, губительным и необходимым как некоторое таинственное испытание. Любовь напоминала о вечности и преодолевала земное время и земные страсти, оставаясь тем самым теснейшим образом связанной со смертью, которая должна увести человека к этой вечности. Но поскольку и смерть, и вечность не только притягивали к себе, но и пугали, любовь на земле оказывалась необходимым и единственным соблазном, на мгновение уводившим в хрупкий мир забвения о смерти и вечности. Чувственное в любви сочетается со сверхчувственным, и это сочетание придает любви ту специфическую двусмысленность, которая напоминает одно-

---

<sup>2</sup> Об этой поэме см.: Гершензон М. О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М., 1919. С. 7–21.

<sup>3</sup> О мистических контекстах трагического у Тургенева см. Топоров В.Н. Странный Тургенев: (Четыре главы). М., 1998. Общая постановка вопроса о значении трагического в жизни и произведениях Тургенева: Бем А.Л. Исследования; Письма о литературе. М., 2001. С. 375–377.

временно о смерти и жизни вечной. Счастье в любви необратимо, поддаться ей навсегда – утратить этот единственно важный смысл или, лучше сказать, переживание двусмысленного бытия на пороге временного и вечного, тварного и божественного: с одной стороны, такая двусмысленная любовь невероятно привлекательна своею земной красотой, с другой – неприкосновенна в своей таинственной надвременной сущности.

Эта влекущая к себе тайна связана с противопоставлением дневного и ночного миров, и прежде всего с мотивами тьмы и ночи: «Она сидела не шевелясь; ей казалось, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над ее головой и она шла ко дну, застывая и немея. Всякому тяжело первое разочарование; но для души искренней, не желавшей обманывать себя, чуждой легкомыслия и преувеличения, оно почти нестерпимо. Вспомнила Наталья свое детство, когда, бывало, гуляя вечером, она всегда старалась идти по направлению к светлому краю неба, там, где заря горела, а не к темному. Темна стояла теперь жизнь перед нею, и спиной она обратилась к свету» («Рудин»). Эти накатывающиеся волны тьмы, воображаемой и вполне реальной, почти осозаемой, уводят если не от жизни, то в прошлое, когда казалось, что правильный выбор возможен, что жизнь позволит его сделать.

Но наступает ночь, и сама мольба оказывается бессмысленной и беспомощной: «Она принялась глядеть “в ночь” через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своею постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами» («Накануне»).

Само счастье, если оно вообще достижимо хотя бы на мгновение, растворяется в глубине ночи, вызывает страх, оставляет загадку бытия неразгаданной: «О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! “О Боже! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни… одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, – все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? (“Morir si giovane”<sup>4</sup>, – зазвучало у нее в душе…) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти… О Боже! неужели нельзя верить чуду? – Она положила голову на сжатые руки. – Довольно? – шепнула она. – Неужели уже довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни – нет, целые недели сряду. А с какого права?” Ей стало страшно своего счаствия. “А если этого нельзя? – подумала она. – Если это не дается даром? Ведь это было небо… а мы люди, бедные, грешные люди… Morir si giovane… О темный призрак, удались!» («Накануне»).

Есть у Тургенева и еще более болезненные состояния духа, когда под сомнение ставится сам рассудок; особое значение принадлежит мотивам птицы, смерти, тишины, безумия и любви: «Я все недоумевал и спрашивал себя: “Не с ума ли я схожу?” Солнце только что закатилось, и <…> весь воздух внезапно наполнился каким-то почти неестественным багрянцем: листья и травы, словно покрытые свежим лаком, не шевелились; в их окаменелой неподвижности, в резкой яркости их очертаний, в этом сочетании сильного блеска и мертвой тишины было что-то странное, загадочное. Довольно большая серая птица вдруг, безо всяского шума, прилетела и села на самый край окна… Я посмотрел на нее – и она посмотрела на меня сбоку своим

---

<sup>4</sup> Умереть такой молодой (*итал.*).

круглым темным глазом. «Уж не прислали ли тебя, чтобы напомнить?» – подумал я. Догадка, скорее всего, оказалась справедливой. Птица тотчас взмахнула своими мягкими крыльями и улетела по-прежнему без шума. Я долго еще сидел у окна <...>: я как будто попал в заколдованный круг – и неодолимая, хотя тихая сила увлекала меня, подобно тому, как, еще задолго до водопада, стремление потока увлекает лодку. Я встрепенулся наконец. Багрянец воздуха давно исчез, краски потемнели, и прекратилась заколдованная тишина. Ветерок запорхал, луна все ярче выступала на посиневшем небе, – и скоро листья деревьев заиграли серебром и чернью в ее холодных лучах» («Призраки»). Здесь, в частности, любопытно это «я встрепенулся» (не очнулся, не проснулся, не отвлекся от мыслей): тургеневский герой приобретает здесь мимолетное сходство с птицей, только что улетевшей, и это не случайная деталь. Вот, например, фрагмент разговора героев одной из самых известных тургеневских повестей:

– Посмотрите, как хорошо! – сказал я, невольно понизив голос.  
– Да, хорошо! – тихо отвечала она, не смотря на меня. – Если бы мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы.  
– А крылья могут у нас вырасти, – возразил я.  
– Как?  
– Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.  
– А у вас были?  
– Как вам сказать… Кажется, до сих пор я еще не летал.  
Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.  
– Умеете вы вальсировать? – спросила она вдруг.  
– Умею, – ответил я, несколько озадаченный.  
– Так пойдемте, пойдемте… Я попрошу брата сыграть нам вальс… Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья» («Ася»).

И еще один отрывок, в котором сочетаются в едином переживании темы птицы<sup>5</sup>, смерти, любви, природы, тьмы: «Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно… как в то мгновение, когда я расстался с ней. <...> Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. “Гроза”, – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра… Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, воробышная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке… Я глядел – и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блескания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. <...> Я почувствовал большую усталость и тишину… но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моей душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружающих его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием…» («Первая любовь»).

В окне, в которое смотрит тургеневский герой, открывается мир внешний, озаренный вспышками молний, но эти молнии блестят и в его душе: «таинственные стекла» связывают

---

<sup>5</sup> Об этой теме в связи с проблемами идеального, личности в ее связях с Богом и действительностью см.: Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. С. 74–76 и далее.

внешнее и внутреннее, и впечатление загадочности происходящего усиливается упоминаниями о «ночи» и «мраке».

Но ночь чревата также страхом, и мотив окна может сочетаться с мотивом крика: «Я приподнял голову и вздрогнул; точно, я не обманывался: жалобный крик примчался издалека и прильнул, словно дребезжа, к черным стеклам окон. Мне стало страшно: я вскочил с постели, раскрыл окно. Явственный стон ворвался в комнату и словно закружился надо мной. Весь похолодев от ужаса, внимал я его последним, замиравшим переливам. Казалось, кого-то резали в отдаленье, и несчастный напрасно молил о пощаде» («Фауст»). Ср. мотив крика в музыкальном контексте, здесь «кричит» поющий голос, находящийся во власти страдания: «Этот романс она спела иначе, чем первый, – вполголоса, словно усталая… и только на предпоследнем стихе: “Поймет, как я страдал”, – у нее вырвался звенящий, горячий крик. Последний стих “И как я стражду…” она почти прошептала, горестно растянув последнее слово» («После смерти [Клара Милич]»). Вообще музыке в тургеневском мире принадлежит особое место: с ней связан план идеальных состояний души: «Почувствовала ли она в моем обращении с нею то невольное, мне самому неизъяснимое уважение, которое, больше чем любопытство, больше даже чем участие, она во мне возбуждала, находилась ли она в тот день в смягченном расположении духа, только она вдруг подошла к фортепиано и, нерешительно положив руку на клавиши и склонив немного голову через плечо назад ко мне, спросила меня, что я хочу, чтоб она сыграла? Я не успел еще ответить, как она уже села, достала ноты, торопливо их развернула и начала играть. Я с детства любил музыку, но в то время я еще плохо понимал ее, мало был знаком с произведениями великих мастеров, и если бы г. Ратч не проворчал с некоторым неудовольствием: “Aha! wieder dieser Beethoven!” <Ах! опять этот Бетховен! (нем.)>, я бы не догадался, что именно выбрала Сусанна. Это была, как я потом узнал, знаменитая Ф-мольная соната,opus 57. Игра Сусанны меня поразила нескованно: я не ожидал такой силы, такого огня, такого смелого размаха. С самых первых тактов стремительно-страстного allegro, начала сонаты, я почувствовал то оцепенение, тот холод и сладкий ужас восторга, которые мгновенно охватывают душу, когда в нее неожиданным налетом вторгается красота. Я не пошевельнулся ни одним членом до самого конца; я все хотел и не смел вздохнуть. Мне пришлось сидеть сзади Сусанны, ее лица я не мог видеть; я видел только, как ее темные длинные волосы изредка прыгали и бились по плечам, как порывисто покачивался ее стан и как ее тонкие руки и обнаженные локти двигались быстро и несколько угловато. Последние отзвуки замерли.

Я вздохнул наконец. Сусанна продолжала сидеть перед фортепиано» («Несчастная»).

Тема непреясненности тайны мира и тайны собственной жизни, разрешающаяся часто в особом типе поведения, в котором немотивированное беспокойство сочетается с перепадами настроения, обнаружением вещи, напоминающей о прошлом, воспоминаниями, приносящими не столько радость, сколько боль; этот мотивный комплекс может сочетаться с упоминанием о кресте: «Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал – он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), – он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, сбираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьминогольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик. <...> Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик – и вдруг слабо вскрикнул… Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение является лицом человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком,

которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же – и весь измененный годами. Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло – и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» – думалось ему, и вспомнил он многое, давно прошедшее...» («Вешние воды»).

Крест связан с прошлым, с памятью, он как бы не дает заблудиться, или, по крайней мере, служит топографическим ориентиром:

«Марья Николаевна подумала – и оглянулась.

– А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом – стоит деревянный красный крест? аль нет?

Санин сделал несколько шагов в сторону.

– Стоит.

Марья Николаевна ухмыльнулась.

– А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись» («Вешние воды»).

Неявным, но оттого не менее очевидным образом крест связан с загадкой жизни, которую только он и может разгадать – теми смыслами, которые в себе заключает (страдание, надежда, любовь, спасение, смирение): «Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь как вкопанный близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка» («Отцы и дети»).

Но и уныние у Тургенева связано с крестом – как в старой традиции русской кладбищенской элегии: «Попадались и речки с обретыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившимися кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось» («Отцы и дети»). Ср.: «Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу <...>» («Отцы и дети»).

Наконец, крест – знак личной тайны, некой невысказанной<sup>6</sup> драмы, постоянно присутствующей в поведении, облике, речи, даже в чтении:

«– Ну, рассказывайте же, – продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, – рассказывайте или прочитайте что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»...

Она вдруг задумалась...

Где нынче крест и тень ветвей  
Над бедной матерью моей! —

проговорила она вполголоса.

---

<sup>6</sup> Впрочем, иногда драма явлена, обнажена с самого начала: «Сестра его была девушка умная и недурная лицом – глаза у неё были удивительные; но несчастный ее горб сокрушал ее, отнимал всякую самонадеянность и веселость, сделал ее недоверчивой и чуть не злой. И имя ей попалось премудреное: Сандулия! Паклин хотел было перекрестить ее в Софию; но она упорно держалась своего странного имени, говоря, что горбатой так и следует называться Сандулией» («Новь»).

— У Пушкина не так, — заметил я.

— А я хотела бы быть Татьяной, — продолжала она все так же задумчиво. — Рассказывайте, — подхватила она с живостью» («Ася»).

Один из источников уныния в пространстве жизни тургеневских героев — быстротечность времени. Оно неотменимо влечет человека к утратам, сожалению, смерти и занимает в произведениях Тургенева одно из «сильных» мест, формируя общую тональность повествования, а вместе с тем образуя некоторый предсказуемый, имеющий серьезную опору в литературной традиции, в том числе русской, и в то же время необходимый комплекс переживаний: «Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями; потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием... Пришли на память и они, товарищи первых стремлений... потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний... потом начали нарастать и надвигаться тени, темнее и темнее стало кругом, глуша и тише побежали однообразные годы — и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел, глядел с изумлением и усилием, точно всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток развивался у меня перед глазами. О, что я сделал! — невольно шептали горьким шепотом мои губы. О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула, я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? эта малость, эта бедная горсть пыльного пепла — вот все, что осталось от тебя? Это холодное, неподвижное, ненужное нечто — это я, тот прежний я? Как? Душа жаждала счастья такого полного, она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточное, она ждала: вот-вот нахлынет счастье потоком — и ни одной каплей не смочило алкавших губ? О, золотые мои струны, вы, так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то, я так и не услышал вашего пенья... вы и звучали только — когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни проходило близко, мимо, улыбалось лучезарно улыбкой — да я не умел признать его божественного лица? Или оно точно посещало меня и сидело у моего изголовья, да позабылось мною, как сон? Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоумение... А вы, думал я, милые, знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною, приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды, нет возврата? Зачем полились вы из глаз, скучные, поздние капли? О, сердце, к чему, зачем еще жалеть, стараясь забыть, если хочешь покоя, приучайся к смиренью последней разлуки, к горьким словам: “прости” и “навсегда”. Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка-радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга; не смотри туда, где блаженство, и вера, и сила — там не наше место!» («Поездка в Полесье»). Здесь время предстает как загадочная субстанция души и жизни, чреватая страданием, а вместе с тем своеобразным недоумением, которое испытывает человек, уже погрузившийся в эту субстанцию и осознавший (или осознающий) свою обреченность. Вместе с тем воспоминания, о которых мыслит герой «Поездки в Полесье», не только ранят, они обеспечивают единство самосознания, в том числе той его сферы, которая наименее прояснена, наименее подвержена воздействию рационального.

В то же время воспоминания связываются с мотивами странствия / возвращения, с детством, с особым состоянием сознания, в которое одновременно входят печальные и радостные («приятные») образы прошлого (первые обычно преобладают над вторыми), длящего свою власть, ср.: «Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застипал отдаленные леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по

бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел... и эта свежая, степная, тучная голь и глуши, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкые березы – вся эта, давно им не виданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили; очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших, тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней и как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну – и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой; вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы; вспомнил Варвару Павловну – и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой» («Дворянское гнездо»).

Исключительно сложной является у Тургенева тема природы, вбирающей, как человеческая душа, многие и разные состояния, оттенки, переходы. На первом плане обычно мотивы утра, солнца, жизни, бодрости, света, чистоты, напр.: «Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов; негустая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики. Недавно вставшее солнце затопляло всю рощу сильным, хотя и не ярким светом; везде блестели росинки, кой-где внезапно загорались и рдели крупные капли; все дышало свежестью, жизнью и той невинной торжественностью первых мгновений утра, когда все уже так светло и так еще безмолвно. Только и слышались что рассыпчатые голоса жаворонков над отдаленными полями, да в самой роще две-три птички, не торопясь, выводили свои коротенькие коленца и словно прислушивались потом, как это у них вышло. От мокрой земли пахло здоровым, крепким запахом, чистый, легкий воздух переливался прохладными струями. Утром, славным летним утром веяло от всего, все глядело и улыбалось утром, точно румяное, только что вымытое лицико проснувшегося ребенка» («Затишье»).

Есть иное состояние природы, соответствующее чуть омраченному состоянию души, испытывающей волнение или смятение чувств, не оформляющихя, может быть, в устойчивые стремления и вместе с тем достаточно ясное, чтобы не требовать рефлексии: «Странное она чувствовала волнение. Утром она поспешно оделась, сошла вниз и, поздоровавшись с своею матерью, улучила время и ушла одна в сад... День был жаркий, светлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшие дожди. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные, сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом, точно алмазы; солнце играло сквозь их мелькающую сетку; трава, еще недавно взъерошенная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу; орошенные деревья томно трепетали всеми своими листочками; птицы не переставали петь, и отрадно было слушать их болтливое щебетанье при свежем гуле и ропоте пробегавшего дождя. Пыльные дороги дымились и слегка пестрели под резкими ударами частых брызг. Но вот тучка пронеслась, запорхал ветерок, изумрудом и золотом начала переливать трава... <...> Небо почти все очистилось, когда Наталья пошла в сад. От него веяло свежестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую

сердце человека отзывается сладким томлением тайного сочувствия и неопределенных желаний...» («Рудин»).

Иногда Тургенев беспокоит читателя и героя мрачными картинами природы, с которой начинают ассоциироваться угроза, тайна, преступление, ср.: «Авдюхин пруд, возле которого Наталья назначила свидание Рудину, давно перестал быть прудом. Лет тридцать тому назад его прорвало, и с тех пор его забросили. Только по ровному и плоскому дну оврага, некогда затянутому жирным илом, да по остаткам плотины можно было догадаться, что здесь был пруд. Тут же существовала усадьба. Она давным-давно исчезла. Две огромные сосны напоминали о ней; ветер вечно шумел и угремо гудел в их высокой, тощей зелени... В народе ходили таинственные слухи о страшном преступлении, будто бы совершенном у их корня; поговаривали также, что ни одна из них не упадет, не причинив кому-нибудь смерти; что тут прежде стояла третья сосна, которая в бурю повалилась и задавила девочку. Все место около старого пруда считалось нечистым; пустое и голое, но глухое и мрачное даже в солнечный день, оно казалось еще мрачнее и глуше от близости дряхлого дубового леса, давно вымершего и засохшего. Редкие серые остыни громадных деревьев высились какими-то унылыми призраками над низкой порослью кустов. Жутко было смотреть на них: казалось, злые старики сошлись и замышляют что-то недоброе. Узкая, едва проторенная дорожка вилась в стороне. Без особенной нужды никто не проходил мимо Авдюхина пруда. Наталья с намерением выбрала такое уединенное место. До него от дома Дарьи Михайловны было не более полуверсты» («Рудин»).

И тема природы, и темы времени, воспоминания, тайны мира связаны с социальной темой. Крепостное право, вызывавшее негодование Тургенева, сложная система отношений дворянства и народа, столь часто подвергающая испытанию человечность, неотменимые печаль и красота народной жизни, народные типы, представленные в «Записках охотника», имеют у Тургенева и эстетико-психологический, и политический аспекты.

Романтизм, апеллирующий к духу, к внутреннему пробуждению, к самодостаточности идеального, сталкивался с реальностью народного быта и обусловленных им границами самосознания и возможностями духовного развития: эти границы оказывались почти непреодолимыми, эти возможности ничтожными. В сложившейся ситуации оставались две основные возможности.

Первая: признать народ телесной субстанцией и относиться к нему и обращаться с ним соответствующим образом (как и поступают тургеневские крепостники из «Записок охотника»).

Вторая: ревизовать этот приговор, увидев в крепостном человеке не только страдающего, но и способного интуитивно постигать значение жизни и смерти, не только обреченного на подчинение, но и способного выразить доминанты национального характера. Приведем здесь небольшой фрагмент из очерка «Бежин луг», отмеченный заинтересованным вниманием рассказчика к скрытым возможностям персонажей: «У <...> Павлуши <...> волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. <...> Лицо <...> Ильюши было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; скатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. <...> Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва

было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов» («Записки охотника»). Как видим, здесь последовательно, даже прямолинейно не вполне приглядной телесности противопоставляются более глубокие особенности, которые и вызывают интерес автора и читателя: упоминания об огромной голове и неуклюжем приземистом теле сочетается с указанием на умный взгляд и звучащую в голосе силу; о «худом» и «невеликом» веснушчатом лице другого мальчика – с описанием его задумчивого и печального взгляда, в котором читалось нечто невысказанное или невысказываемое. Тут же еще один мальчик, в облике которого личностные возможности не проявляются, и образ его как бы разделяет эти два описания живых душ (впрочем, мы не знаем, возобладает ли навсегда в лице его эта «тупая, болезненная заботливость»). Еще отрывок, из очерка «Касьян с Красивой Мечи»: «Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь – и, Господи Боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. <...> А вот как пойдешь, как пойдешь, – подхватил он, возвысив голос, – и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь – сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься – заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всякий человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Симбирск – славный град, и в самую Москву – золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видел, добрых крестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, грешный... много других християн в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!..

А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, – вот оно что...» («Записки охотника»). Понимание справедливости как внутренней потребности сочетается в этой картине с поэзией природы, народной сказки, с ощущением присутствия Создателя в создании и собственной душе. Иногда герои Тургенева встречаются с Христом, если не наяву, то во сне, как в рассказе «Живые монстры»: «Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая – все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался – так вот я себе венок сперва совью; жаль-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу – кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда – не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь – по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько – только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, – таким его не пишут, – а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, – только пояс золотой, – и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, – и я за ним!» («Записки охотника»).

\* \* \*

В лекции «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев разграничивает две стороны человеческой «природы»: вера в идеал и способность к действию и самопожертвованию присущи донкихотскому типу; безверие, аналитизм, эгоизм – гамлетовскому: «Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле»; ср. о Гамлете: «Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик – и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя – и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя – и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, – и привязан к жизни...»

Проблема, осознанная Тургеневым, заключается в том, что в действительности два типа, о которых он говорит, слишком часто оказываются лишь тенденциями, которые могут вступать во взаимоборьбу в пределах одного характера, одной личности: «Нам могут возразить, что действительность не допускает таких резких разграничений, что в одном и том же живом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до некоторой степени; но мы и не думали утверждать невозможное!»

Это признание представляется в высшей степени показательным: именно связь двух тенденций в психологии современного человека занимала Тургенева (показательно, что в его романах есть и Гамлет, сожалеющий о том, что он не Дон-Кихот<sup>7</sup>, но именно как Дон-Кихот погибающий на баррикадах<sup>8</sup>, и Дон-Кихот, открывающий в себе Гамлета<sup>9</sup>), и именно потому, что в его собственной душе противоречие между стремлением к действию во имя идеала и эгоизмом самоанализа, расшатывающего уверенность в своей способности действовать, было выражено чрезвычайно ярко.

Он начал самостоятельное литературное и общественное поприще с заявления о том, что посвящает себя борьбе с крепостным правом, он вошел в либеральную среду – и порвал с

---

<sup>7</sup> «И слова его полились рекою. Он говорил прекрасно, горячо, убедительно – о позоре малодушия и лени, о необходимости делать дело. Он осыпал самого себя упреками, доказывал, что рассуждать наперед о том, что хочешь сделать, так же вредно, как накалывать булавкой наливающийся плод, что это только напрасная траты сил и соков» («Рудин»).

<sup>8</sup> «В одной руке он держал красное знамя, в другой – кривую и тупую саблю и кричал что-то напряженным, тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем и саблей. Венсенский стрелок прицелился в него – выстрелил... Высокий человек выронил знамя – и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце.– Tiens! – сказал один из убегавших *insurgés* другому, – on vient de tuer le Polonais (Смотри-ка!.. поляка убили. *Insurgé* – повстанец [*франц.*]!).– Bigre! (Черт возьми! [*франц.*]) – ответил тот, и оба бросились в подвал дома, у которого все ставни были закрыты и стены пестрели следами пуль и ядер. Этот «Polonais» был – Дмитрий Рудин» («Рудин»).

<sup>9</sup> «А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже...» («Отцы и дети»).

ней, увидев в ее донкихотстве нечто смешное и пустое; впрочем, и среда эта его оттолкнула, разглядев в его интересе к их донкихотству его иронический, гамлетовский взгляд<sup>10</sup>.

С годами в тургеневском видении мира усиливалась именно гамлетовская тенденция с ее неизбежной метафизической усталостью, с ее скепсисом, распространявшимся на общество, человека вообще, на самого себя. Но гамлетовское в тургеневских текстах – это их сложное, часто полускрытое мистическое начало, связанное с темами снов, видений, различных проявлений потустороннего в природе и человеческой душе.

Это мистика освобождающая и возвышающая – и, чаще, странная, темная, напоминающая о бессилии человека перед лицом могущественных и не обязательно благосклонных к нему сил, способных явить себя на границе временного и вечного в мире и душе. Но и сам человек слишком часто не в силах освободиться из-под власти собственных своих иллюзий, заполняющих его мимолетное существование: «Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечно вереницей <...>. Он стал следить <...> за этим дымом. Беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, <...> как бы кривляясь, <...> неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же... <...> “Дым, дым”, – повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь – все людское, особенно все русское. Все дым и пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то – и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул – и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и – ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы... Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики <...> у <...> высоко- и низкопоставленных, передовых и отсталых, старых и молодых людей... Дым, повторял он, дым и пар <...>, дым, дым, и больше ничего. А собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только рукой махнул» («Дым»).

\* \* \*

Сложности героя (и повествователя, так же вбиравшего в себя и гамлетовские, и донкихотские черты) соответствовала некоторая неопределенность жанровой системы.

Во-первых, сочиняя свои «стихотворения в прозе», Тургенев обыгрывал границу между поэзией и прозой как двумя видами словесного искусства, подчеркивая их равноправие и равнотенность (ср. стихотворные вставки в «Записках охотника»); известную пушкинскую формулу о «презренной прозе» он вряд ли мог считать адекватной.

Во-вторых, лаконичные тургеневские романы граничили с повестью и в отношении объема, и по количеству персонажей и сюжетных линий<sup>11</sup>; основное различие между этими формами заключалось в том, что романы, в отличие от повестей, прямо апеллировали к общественно-политической проблематике.

В-третьих, он рассматривал жанр как динамическую структуру, допускавшую нетривиальные интерпретации и эксперименты, которые должны были отражать тургеневское понимание сложности жизни; так, например, роман «Отцы и дети» начался как злободневно идеологический, а продолжался и заканчивался как психологический и философский (не говорю уже о том, что при этом он обнаруживал некоторые особенности, сближавшие его с рома-

---

<sup>10</sup> См. об этом: Измайлов Н.В. Тургенев и круг «Современника» // Тургенев и круг «Современника»: Неизданные материалы: 1847–1861. М.; Л., 1930. С. V–XLVII.

<sup>11</sup> См. об этом: Бицилли П. М. Трагедия русской культуры. М., 2000. С. 210.

ном историческим<sup>12</sup>). Особенности тургеневской поэтики находили некоторые соответствия (вряд ли только случайные или поверхностные) в его литературной позиции, которая характеризуется той же сложностью или неопределенностью, тем же динамизмом, подчас двойственностью. Один из ее аспектов – его специфическая ориентация в литературном процессе: он одновременно тяготеет к настоящему, претендую на выражение актуальных тенденций развития русской литературы, и к прошлому. Во всяком случае, Пушкин оказался ему ближе, чем некоторые его современники, например Л. Н. Толстой<sup>13</sup>, И. А. Gonчаров<sup>14</sup> или Ф. М. Достоевский<sup>15</sup> (не рассматриваем здесь сложный вопрос о том, как именно соединялись в конфликтах Тургенева с этими и другими современными ему авторами вопросы литературные с личными антипатиями). О «пушкизме» Тургенева писали неоднократно уже его современники; вот весьма характерный фрагмент из воспоминаний А. Ф. Кони: «Выше всех и краше всего был для него Пушкин. Он способен был говорить о нем целые часы с восторгом и умилем, приводя обширные цитаты и комментируя их с особою глубиной и оригинальностью. <...> На почве преклонения перед Пушкиным произошел у Тургенева незабвенный для всех слушателей горячий спор с <К. Д.> Кавелиным, который ставил Лермонтова выше. Романтической натуре Кавелина ропущий, негодующий и страдающий Лермонтов был ближе, чем величавый в своем созерцании Пушкин. Но Тургенев с таким взглядом примириться не мог, и объективность Пушкина пленяла его гораздо больше субъективности Лермонтова. Он с любовью останавливался на указаниях Пушкина на источники и условия поэтического творчества, поражался их верностью и глубиной и с восторгом цитировал изображение Пушкиным притива вдохновения, благодаря которому душа поэта становится полна “смятения и звуков”. В словах его с очевидностью звучало, что и он в своем творчестве не раз испытал такое смятение»<sup>16</sup>. Самое любопытное здесь – своеобразное самоотождествление Тургенева с Пушкиным (о чем Кони пишет, возможно, с легкой иронией). Ср. в другой статье того же автора: «Тургенев считал своим учителем Пушкина и говорил о нем с увлечением, с гордым одушевлением, ревниво ограждая его от сопоставления с кем-либо»<sup>17</sup>. В самом деле, Тургенев неоднократно подчеркивал свое особое отношение к Пушкину и в устных высказываниях, и в письмах к современникам<sup>18</sup>; показательна и сама готовность его заниматься публикацией писем Пушкина к жене<sup>19</sup>. Отдельная тема – связь тургеневской концепции романного жанра с пушкинской, восстановливающая «разорванную Гоголем цепь дворянской литературы»<sup>20</sup>. Особое место в ряду этих и других подобных фактов занимает «пушкинская речь» Тургенева: здесь его преклонение перед Пушкиным обнаружило некоторую дополнительную подоплеку – мнения Белинского, которого Тургенев именует «главным, первоначальным истолкователем Пушкина» и прямо связывает память о Пушкине с памятью о Белинском («Мы произнесли имя

---

<sup>12</sup> См.: Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 403–404.

<sup>13</sup> Гуттъяр Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907. С. 219–230.

<sup>14</sup> Ляцкий Е.А. Gonчаров: Жизнь, личность, творчество: Критико-биографические очерки / 3-е изд. Стокгольм, 1920. С. 127–153; И. А. Gonчаров и И.С. Тургенев: По неизданным материалам Пушкинского дома: С предисловием и примечаниями Б.М. Энгельгардта. Пб., 1923. С. 10–27.

<sup>15</sup> Никольский Ю. А. Тургенев и Достоевский: (История одной вражды). София, 1921.

<sup>16</sup> И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: В двух томах: Т. 2. М., 1983. С. 124–125.

<sup>17</sup> Кони А.Ф. Собр. соч.: В восьми томах: Т. 6. М., 1968. С. 331. Ср. в воспоминаниях Н. А. Островской: И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: В двух томах: Т. 2. С. 68–69.

<sup>18</sup> См., напр., в письме к М. М. Стасюлевичу от 15 (27) марта 1874 г.: «Пушкин – это мой идол, мой учитель, мой недоягаемый образец <...>».

<sup>19</sup> Измайлов Н.В. Тургенев – издатель писем Пушкина к Н. Н. Пушкиной // Тургеневский сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева: <Вып.> 5. Л., 1969. С. 390–415.

<sup>20</sup> Пумпянский Л.В. Классическая традиция. С. 390; здесь же подробное описание системы связей романов (отчасти и повестей) Тургенева с романами Пушкина, см. в особенности: с. 389–392, 399–401, 436–437, 444–446 и др. Из последних работ, посвященных пушкинскому подтексту творчества Тургенева, см.: Мостовская Н. Н. «Пушкинское» в творчестве Тургенева // Русская литература, 1997, № 1. С. 28–38.

Белинского – и хотя ничья похвала не должна раздаваться сегодня рядом с похвалою Пушкину, но вы, вероятно, позволите нам почтить сочутственным словом память этого замечательного человека, когда узнаете, что ему выпала судьба скончаться именно в день 26-го мая, в день рождения поэта, который был для него высшим проявлением русского гения!»); именно у Белинского Тургенев почерпнул тезисы о преимущественно «художественном» направлении поэзии Пушкина, о «слабости» его сказок, о его внимании к существенным аспектам «русской жизни». Так обнаруживается еще один аспект сложности литературной позиции Тургенева, всю свою творческую жизнь пытавшегося совместить пушкинскую «художественность» с требованием «социальности», выдвинутым Белинским. Неслучайно князь П. А. Вяземский, с полным правом сознававший себя хранителем преданий пушкинской эпохи, открыто неприязненно относился к Тургеневу, в котором видел последователя «школы» Белинского<sup>21</sup>; Тургенев же именно Белинского, которому он посвятил роман «Отцы и дети», пытался противопоставить односторонности «нигилизма» 1850–1860-х гг. На более глубоком уровне мироощущения Тургенева литературная традиция оказывалась формой понимания той сложности существования в культуре, которая апеллирует одновременно к своему и чужому, прошлому и настоящему, чтобы соотнести наконец временное с возвышающимся над ним вечным, позволяя в недовоплощенности земного и личного увидеть высшую ответственность свободного человека, выбирающего между добром и злом.

---

<sup>21</sup> Весьма показателен, например, его резко отрицательный отзыв на одну из повестей Тургенева (*Ивинский Д. П. А. Вяземский о повести И.С. Тургенева «Вешние воды» // И.С. Тургенев и современность: Междунар. науч. конф., посвящ. 175-летию со дня рождения И.С. Тургенева: Доклады и сообщения: 2–6 ноября 1993 г. М., 1993. С. 175–179*).

## Записки охотника

### Хорь и Калиныч

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большую частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя<sup>22</sup> исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дома, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посыпать в подарок кислые персики и другие сырье произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть Пинну; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо однако говорил однache и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

– До меня верст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

– А кто такой Хорь?

– А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных

---

<sup>22</sup> «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов, орловское наречие отличается вообще множеством свойственных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов. (Прим. И.С. Тургенева.)

заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.

— Нет, Хорь в город уехал, — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. — Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна сузальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резных прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Все дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Все Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена, — заметил он, слезая, — а все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. — «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». — «Пятьдесят рублей в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто цепковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту.

Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого

роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное журканье пчел и болтливый лепет листвьев.

Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пыщет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч – добрый мужик, – сказал мне г. Полутыкин, – усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его все оттягишаю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, – посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик – лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной все как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

– Послушай-ка, Хорь, – говорил я ему, – отчего ты не откупишься от своего барина?

– А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

– Все же лучше на свободе, – заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

– Вестимо, – проговорил он.

– Ну, так отчего же ты не откупашься?

Хорь покрутил головой.

– Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

– Ну, полно, старина...

– Попал Хорь в вольные люди, – продолжал он вполголоса, как будто про себя, – кто без бороды живет, тот Хорю и набольший.

— А ты сам бороду сбей.

— Что борода? борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я.

— Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простилю и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места, — сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то вблизи стала жевать сено и фыркать... Я наконец задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

— Самовар тебе готов, — сказал он мне с улыбкой, — пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.

— Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, — на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вон один, пострел, не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

— А что мне жениться? — возразил Федя, — мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! Кольца серебряные носишь... Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!» — продолжал старики, передразнивая горничных, — уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Виши, барина мы с тобой беспокоим. Женю небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старики радушно его

приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной.

Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая, Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпичку, но часто даже мужчину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продаивать их дело, и они ее точно продают, не в городе, – в город надо самим тащиться, – а приезжим

торгашам, которые, за неимением бемена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, – как же?..» – «А! ах, Господи, Твоя воля!» – воскликнул Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчелы отродясь не мерли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и браницась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся... Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» – и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «ляялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» – «Да вот и я мужик, а виши...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне дает на лапти». – «Да, в прошлом году гриненник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя, доля!». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато, в другое время, не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается

– телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

– Посмотри-ка, – возразил я ему, – как у Калиныча на пасеке чисто.

– Пчелы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом.

«А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Верст сто!» – «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаше».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я... – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

## Ермолай и мельничиха

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»... Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до заходления солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают – не все вдруг – по породам; вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг – но одни охотники поймут меня, – вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, – и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил в зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороха и для дроби, другой сзади – для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одностольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья – и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванию Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, – рассуждал он, – притом пес – животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете... Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувшись под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружно-

стью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.

Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенко не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного – «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывалбит сильно и долго – и все-таки, через несколько времени, возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалывать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе». – «А в Чаплино». – «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» – «А там у Софронамужичка переночевать». – «Да ночуй здесь». – «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «дешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»<sup>23</sup>… Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, – и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалившись на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угромой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали

---

<sup>23</sup> Охотникам до соловьев эти названья знакомы: ими обозначаются лучшие «колена» в соловьином пенье. (Прим. И.С. Тургенева.)

на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой – и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры… Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.

У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы в Исте бездна, особливо голавлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами… Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытаться нашего счаствия (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченныйочной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» – раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». – «Пойду скажу хозяину… Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, – говорит, – хозяин не велит пускать», – «Отчего не велит?» – «Да боится; вы охотники: чего доброго, мельницу зажжете; виши, у вас снаряды какие». – «Да что за вздор!» – «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». – «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» – «Как знаете…» Он ушел, стуча сапогами…

Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», – произнес он наконец со вздохом. Но до деревни были версты две… «Ночуем здесь, – сказал я, – на дворе ночь теплая; мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надо? – раздался снова голос работника, – сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. Во ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу… Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам наконец переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофель, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать… Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину – не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенъко ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывая щепки в огонь.

– В Желухиной опять падеж, – говорила мельничиха, – у отца Ивана обе коровы свалились… Господи помилуй!

— А что ваши свиньи? — спросил, помолчав, Ермолай.  
— Живут.  
— Хоть бы поросеночка мне подарили.  
Мельничиха помолчала, потом вздохнула.  
— С кем вы это? — спросила она.  
— С барином — с костомаровским.  
Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.  
— Чего твой муж нас в избу не пустил?  
— Боится.  
— Виши, толстый брюхач... Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!  
Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:

Как к любезной я ходил,  
Все сапожки обносил...

Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» — прибавил он.  
Мельничиха опять присела на кадку.  
— А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?  
— Хвораю.  
— Что так?  
— Кашель по ночам мучит.

— Барин-то, кажется, заснул, — промолвил Ермолай после небольшого молчания. — Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.

— Я и то не хожу.  
— А ко мне зайди погостить.  
Арина потупила голову.  
— Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай, — продолжал Ермолай... — Право-ся.  
— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.  
— А пусть дрыхнет, — равнодушно заметил мой верный слуга, — набегался, так и спит.  
Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.

— Картофель готов-с, извольте кушать.  
Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.  
— Давно вы эту мельницу сняли?

— Второй год пошел с Троицына дня.

— А твой муж откуда?

Арина не расслушала моего вопроса.

— Откелева твой муж? — повторил Ермолай, возвысив голос.

— Из Белева. Он белевский мещанин.

— А ты тоже из Белева?

— Нет, я господская... была господская.

— Чья?

— Зверкова господина. Теперь я вольная.

— Какого Зверкова?

— Александра Силыча.

— Не была ли ты у его жены горничной?

— А вы почему знаете? Была.

Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину.

– Я твоего барина знаю, – продолжал я.

– Знаете? – отвечала она вполголоса – и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я с таким участем посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дальенным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая – дюжинное и тяжелое созданье; был и сынок, настоящий барышонок, избалованный и глупый. Наружность самого г. Зверкова мало располагала в его пользу: из широкого, почти четырехугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями; стриженые седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Г-н Зверков стоял обыкновенно, растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дальний, г. Зверков начал наставлять меня на «путь истины».

– Позвольте мне вам заметить, – пропищал он наконец, – вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум; вы мало знаете собственное свое отечество; Россия вам, господа, незнакома, вот что!.. Вы все только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то, и то насчет того, ну, то есть насчет дворовых людей... Хорошо, я не спорю, все это хорошо; но вы их не знаете, не знаете, что это за народ. (Г-н Зверков громко высыпался и понюхал табаку.) Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец: вас это может заинтересовать. (Г-н Зверков откашлялся.) Вы ведь знаете, что у меня за жена; кажется, женщину добре ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье, – просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се, – ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет – как бы вам сказать, не солгать, – лет пятнадцать. Смотрим, у старости девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Коко, – то есть, вы понимаете, она меня так называет, – возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Коко...» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог... Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом... вообще... удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что ж вы думаете?.. Девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристраивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе... замечайте!.. И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, решительно не было; услужлива, скромна, послушна – просто все, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаешься, слишком баловала: одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила... ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила. Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина – ее Ариной звали – без доклада ко мне в кабинет – и бух мне в ноги... Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?» – «Батюшка, Александр Сильч, милости прошу!». – «Какой?» – «Позвольте выйти замуж!» Я, признаюсь вам, изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?» – «Я буду служить барыне по-прежнему». – «Вздор! вздор! барыня замужних горничных не держит». – «Маланья на мое место поступить может». – «Прошу не рассуждать!» – «Воля ваша...» Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность... Ведь вам говорить нечего – вы знаете, что у меня за жена: ангел во плоти, доброта неизъяснимая... Кажется, злодей – и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблаго-

дарности в человеке. Что ж вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с тою же самою просьбой. Тут я, признаюсь, ее с сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен... Но представьте себе мое изумление: несколько времени спустя приходит ко мне жена, в слезах, взволнована так, что я даже испугался. «Что такое случилось?» – «Арина...» Вы понимаете... я стыжусь выговорить. «Быть не может!.. кто же?» – «Петрушка». Меня взорвало. Я такой человек... полуумер не люблю!.. Петрушка... не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина... ну, что ж, ну, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остречь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Больной член лучше отсечь разом... Ну, ну, теперь посудите сами, – ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это, это, это... наконец, ангел!.. Ведь она привязалась к Арине, – и Арина это знала и не постыдилась... А? нет, скажите... а? Да что тут толковать! Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите... сердца, чувства – в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он все в лес смотрит... Вперед наука! Но я желал только доказать вам...

И г. Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение.

Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину.

– Давно ты замужем за мельником? – спросил я ее наконец.

– Два года.

– Что ж, разве тебе барин позволил?

– Меня откупили.

– Кто?

– Савелий Алексеевич.

– Кто такой?

– Муж мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А разве вам барин говорил обо мне? – привавила Арина после небольшого молчания.

Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!» – закричал издали мельник. Она встала и ушла.

– Хороший человек ее муж? – спросил я Ермолая.

– Ништо.

– А дети у них есть?

– Был один, да помер.

– Что ж, она понравилась мельнику, что ли?.. Много ли он за нее дал выкупу?

– А не знаю. Она грамоте разумеет; в их деле оно... того... хорошо бывает. Стало быть, понравилась.

– А ты с ней давно знаком?

– Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба отселева недалече.

– И Петрушку-лакея знаешь?

– Петра Васильевича? Как же, знал.

– Где он теперь?

– А в солдаты поступил.

Мы помолчали.

– Что она, кажется, нездорова? – спросил я наконец Ермолая.

– Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо.

Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.

## Малиновая вода

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая прелестная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина учиненно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению привлечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удущливый зной принудил меня наконец подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в муխояровом заплатанном сюртуичке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я взгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными салями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтораста верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со временем приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, николько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, Бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось

в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то, по крайней мере, так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, – об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, – даже и эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, – стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В Светлое Воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, ютился, или, как говорят орловцы, «притуился» у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня – да и не кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек припрогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей, – и все для еды, для одной еды. И точно, не заботясь он с утра до вечера о своем пропитании, – умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает… Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленько, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущеный человек графа Петра Ильича \*\*\*, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоянного двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную,

солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморошенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но именья его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

— Ну, что, Михайло Савельич, — начал я, — наловил рыбы?

— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да голавликов штук пять... Покажь, Степа.

Степушка протянул ко мне плетушку.

— Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его.

— И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку, — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

— А Митрофан здоров?

— Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

— Да плохо что-то клюет, — заговорил Туман, — жарко больно; рыба-то вся под кусты забилась, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите?

— Как видишь.

— Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

— Не знаю, какой он породы, а хорош.

— Так-с... А с собаками изволите ездить?

— Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы все уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и все. Покойный граф — Царство ему Небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азиятец! — прибавил он вдруг, дернув удочкой.

— А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? — спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

— Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, — Господи, Владыко живота моего! фейвишки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Калпельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с Богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшут, и все больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа... Барин был, как следует, барин, — продолжал старик, закинув опять удочку, — и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, — смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости Господи! Оне-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, — дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница, — Царство ей Небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко! — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка, — возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается, — заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

— Теперь, вестимо, лучше, — пробормотал он — и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знющий воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и было с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплыvala большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг, позади нас, в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностию напился и приподнялся.

— Э, Влас? — вскрикнул Туман, взглянувшись в него. — Здорово, брат. Откуда Бог принес?

— Здорово, Михаила Савельич, — проговорил мужик, подходя к нам, — издалеча.

— Где пропадал? — спросил его Туман.

— А в Москву сходил, к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чём просить?

— Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер, — так мне одному теперь не справиться.

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник, — прибавил мужик, помолчав, — у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаешься, и оброк взносил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошел назад?

— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почем знаю? Да и сын твой ничего, — говорит, — не оставил; еще у меня в долг»». Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съеженные его глазки навернулась слезинка, губы его подергивали.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы... того... — заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копаться в горшке.

— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертию с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугоря: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри, — шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? Это плохо, брат Влас, — с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, — продолжал он, утирая лицо рукавом.

— Кто ваш барин? — спросил я.

— Граф \*\*\*, Валериан Петрович.

— Сын Петра Ильича?

— Петра Ильича сын, — отвечал Туман. — Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

— Что, он здоров?

— Здоров, слава Богу, — возразил Влас. — Красный такой стал, лицо словно обложилось.

— Вот, батюшка, — продолжал Туман, обращаясь ко мне, — добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

— А почем с тягla?

— Девяносто пять рублей с тягla, — пробормотал Влас.

— Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.

— Да и тот, говорят, продали, — заметил мужик.

— Ну, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? Что ты, заснул, что ли?

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

Через полчаса мы разошлись.

## Уездный лекарь

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под общаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомишься успеешь – глянь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, – только он, ни с того ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря.

– Вы не изволите знать, – начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку), – вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, все равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать – не солгать, в Великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принес, – должно быть, от большого. Подай, говорю, записку. Так и есть: от большого... Ну, хорошо, – это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чем дело: пишет ко мне помещика, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого Господа Бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего... Да, живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупицами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележонка перед крыльцом; лошади крестьянские – пузатые-препузатые, шерсть на них – войлок настоящий, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят... Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, все в соображенье принимай... Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит – смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало – беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка почтенная такая, в чепце. «Спасите, – говорит, – умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться... Где больная?» – «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комната чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело – горячка. Тут же другие две девицы, сестры, – перепуганы, в слезах. «Вот, говорит, вчера была совершенно здорова и кашала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении...» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», – докторская, знаете, обязанность, – и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, –

ну, ей-богу, не видал еще такого лица... красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза... Вот, слава Богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела... Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» – «Ничего», – говорит, да и отворотилась... Гляжу – заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать... Я согласился: куда теперь ехать! Старушка все охает. «Чего вы? – говорю. – Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». – «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» – «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег, – только не могу заснуть, – что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и хранил даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел... Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, – говорю, – сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». – «Вы доктор?» – «Доктор, доктор... Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст Бог, на ноги поставим». – «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть... пожалуйста, пожалуйста». – «Что вы это, Бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня – да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому... послушайте...» Я нагнулся; придинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает, – признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, – и начала шептать... Ничего не понимаю... Ах, да это она бредит... Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому...» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел.

– Однако, – продолжал он, – на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчало. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость... Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного... Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось... Больная не поправлялась... День за день, день за день... Но вот-с... тут-с... (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с... (Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила, что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а впрочем... право, как это, того-с... (Лекарь потупился и покраснел.)

– Нет, – продолжал он с живостью, – какое полюбила! Надо себе наконец цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком Господь Бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна – ее Александрой

Андреевной звали – не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите… Впрочем, – прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством, – я, кажется, немного зарапортовался… Этак вы ничего не поймете… а вот, позвольте, я вам все по порядку расскажу.

Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.

– Так, так-то-с. Моеей больной все хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоувренность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся… э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь – нет, не оно! Не даешь времени лекарству как следует подействовать… то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу… ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба… А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек – не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К доверию несчастия, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдоты рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно – теперь не для чего скрываться – влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать, – расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить – не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы хороший!» Руки у нее такие горячие, глаза большие, томные. «Да, – говорит, – вы хороший, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи… нет, вы не такой, вы не такой… Как это я до сих пор вас не знала!» – «Александра Андреевна, успокойтесь, – говорю… – я, уверяю, чувствую, я не знаю, чем заслужил… только вы успокойтесь, ради Бога, успокойтесь… все хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать, – прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, – что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство, – так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала… приподнимется, бедняжка, с моей помощью примет и взглянет на меня… сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось, все хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Проверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят… и доверие проходит. «Что? Как?» – «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и хранил во всю ивановскую… Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи все металась; наконец словно заснула; по крайней мере, не шевелился, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, поту-

пился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я... Господи, Боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит... губы раскрыты, щеки так и горят. «Что с вами?» – «Доктор, ведь я умру?» – «Помилуй Бог!» – «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива... не говорите... если б вы знали... послушайте, ради Бога не скрывайте от меня моего положения! – А сама так скоро дышит. – Если я буду знать наверное, что я умреть должна... я вам тогда все скажу, все!» – «Александра Андреевна, помилуйте!» – «Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу... ради Бога... я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас всем, что есть святого на свете, – скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно... Доктор, ради Бога скажите, я в опасности?» – «Что я вам скажу, Александра Андреевна, помилуйте!» – «Ради Бога, умоляю вас!» – «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, – вы точно в опасности, но Бог милостив...» – «Я умру, я умру...» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не страшает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь... ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю...» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете... «Слышите ли, я люблю вас...» – «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» – «Нет, нет, вы меня не понимаете... ты меня не понимаешь...» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала... Поверите ли, я чуть-чуть не закричал... бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять... я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, – говорю, – разбудите, Александра Андреевна... благодарю вас... верьте... успокойтесь». – «Да полно же, полно, – твердила она. – Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут – все равно: ведь умру же я... Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову... Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась... в таком случае извините меня». – «Александра Андреевна, что вы говорите?.. я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня...» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, – не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите», – говорю. «К чему, – говорит, – чего жалеть? Ведь должна же я умереть...» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно... а то что?» – «Да кто вам сказал, что вы умрете?» – «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». – «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение... мы соединимся узами, мы будем счастливы». – «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть... ты мне обещал... ты мне сказал...» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, – ох, да недоброе что-то, – и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, Боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрипела моя больная... и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, – сижу я подле нее и уж об одном Бога прошу: прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же... Вдруг старушка-мать –

шашть в комнату... Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла... посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». – «Что это она, доктор, что она?» Я помертел. «Бредит-с, – говорю, – жар...» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял... что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю – мне не к чему лгать; дай мне руку...» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась.

– Не стану я вас, однако, более томить, да и мне самому, признаться, тяжело все это припомнить. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей Небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, – говорит, – я, может быть, виновата перед вами... болезнь... но, поверьте, я никого не любила более вас... не забывайте же меня... берегите мое кольцо...»

Лекарь отвернулся; я взял его за руку.

– Эх! – сказал он. – Давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не браницась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что ж преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной – и ушел поздно, весьма довольный своей победой.

## Мой сосед Радилов

...Осеню вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семидесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братиях». Прекрасное дерево – такая старая липа... Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними.

Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста, – я выстрелил, и в то же мгновенье, в нескольких шагах от меня, раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живет помещик».

Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях.

– Извольте, – сказал он мне с улыбкой, – я приму вашу дичь, но только с условием: вы у нас останетесь обедать.

Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно.

– Я здешний помещик и ваш сосед, Радилов, может, слыхали, – продолжал мой новый знакомый. – Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил.

Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев; вдоль плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник – остатки прежних «клумб». Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмуясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону; из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький, серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился.

– Впрочем, – сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, – я теперь раздумал; может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне: в таком случае...

Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.

– Ну, как знаете.

Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми

картинами, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку – кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня.

– Ну, теперь пойдемте в гостиную, – ласково проговорил Радилов, – я вас познакомлю с моей матушкой.

Я пошел за ним. В гостиной, на середнем диване, сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.

– Вот, матушка, рекомендую: сосед наш \*\*\*.

Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикюля в виде мешка.

– Давно вы пожаловали в нашу сторону? – спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами.

– Нет-с, недавно.

– Долго намерены здесь остаться?

– Думаю, до зимы.

Старушка замолчала.

– А вот это, – подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, – это Федор Михеич… Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?

Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрипку, взял смычок – не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пилякая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феди не доставляло большого удовольствия.

– Ну, хорошо, старина, полно, – проговорил он, – можешь пойти наградить себя.

Федор Михеич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне, как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.

– Тоже был помещик, – продолжал мой новый приятель, – и богатый, да разорился – и вот проживает теперь у меня… А в свое время считался первым по губернии хватом; двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски… Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе.

Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату.

– А вот и Оля! – заметил Радилов, слегка отвернув голову. – Прошу любить и жаловать… Ну, пойдемте обедать.

Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от «награды» глазки засияли и нос слегка покраснел, пел: «Гром победы раздавайся!» Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен и, в качестве воскресного, не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров (пирожного). За столом Радилов, который лет десять служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы; я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой; но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и, в особенности, карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каж-

дым словом Радилова; не участие, – страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов, по летам, мог бы быть ее отцом; он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене – «ее сестра», – прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданьем, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было «славить» хозяев и гостя, но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать; старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Радиловым отправились в его кабинет.

В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращенье, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Радиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принужденья, даже с участием, но вдруг вздыхал и опускался в кресла, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и биллиардной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великолепным кучерам, у которых, Бог знает почему, от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон... «Что ж это за помещик наконец!» – думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судбою недовольным; напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволеньем, радушем и почти обидной готовностью сближенья с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться он ни с кем не мог, и не мог не оттого, что вообще не нуждался в других людях, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Радилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был; но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное, – именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк; но человек он все-таки был славный.

Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михеич по-прежнему сидел в своем уголку, между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Радилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливалась чай. Я с большим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желания сказать что-нибудь хорошее, вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия; она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движения были решительны и свободны. Она мне очень нравилась.

Мы с Радиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечанья: как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные.

— Да, — промолвил Радилов, — это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Не долго... три года; моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее; я был огорчен страшно, убит, но плакать не мог — ходил словно шальной. Ее, как следует, одели, положили на стол — вот в этой комнате. Пришел священник; дьячки пришли, стали петь, молиться, курить ладаном; я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело и голова тоже, — и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли? Ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене, — дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел... (Здесь Радилов невольно вздрогнул.) Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и поэтому глазу ходила муха... Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать — унять себя не мог...

Радилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу... Всек мне не забыть выражения ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из ридикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеич вдруг поднялся, схватил свою скрипку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас; но мы все вздрогнули от его первого звука, и Радилов попросил его успокоиться.

— Впрочем, — продолжал он, — что было, то было; прошлого не воротишь, да и наконец... все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Волтер, — прибавил он поспешно.

— Да, — возразил я, — конечно. Притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти.

— Вы думаете? — заметил Радилов. — Что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помещением похвалиться не могли, — разумеется, дело военное, — и то еще славу Богу! Вдруг к нам еще приводят больных, — куда их положить? Лекарь туда, сюда, — нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера: «Жив?» Тот отвечает: «Утром был жив». Лекарь нагнулся, слышит: дышу. Не вытерпел приятель. «Ведь экая натура-то дура, — говорит, — ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а все скрипит, тянется, только место занимает да другим мешает». — «Ну, — подумал я про себя, плохо тебе, Михайло Михайлович...» А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы.

— Во всяком случае я прав, — отвечал я. — Если б вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения.

— Разумеется, разумеется, — прибавил он, внезапно и сильно ударив рукою по столу... — Стоит только решиться... Что толку в скверном положении?.. К чему медлить, тянуть...

Ольга быстро встала и вышла в сад.

— Ну-ка, Федя, плясовую! — воскликнул Радилов.

Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой, особенной поступью, какою выступает известная «коза» около ручного медведя, и запел: «Как у наших у ворот...»

У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого росту, плечистый и плотный, однодворец Овсяников... Но Овсяников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем чем свет отправились на охоту, а с охоты домой, что через неделю я опять зашел к Радилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через две недели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей золовкой. Вся губерния взорвалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пыпало также ревностью.

Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной; она играла с Федором Михеичем в дурачки.

— Имеете вы известие от вашего сына? — спросил я ее наконец.

Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.

## Онодворец Овсянников

Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой: вот вам Овсянников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсянников своею важностью и неподвижностью, смысленостью и ленностью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен... Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, онодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор онодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсянников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсянников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсянников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги (причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки), вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не сутился, не потчевал их всяким сушеным и соленым. «Жена! – говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову. – Принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб – Божий дар, и в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас; они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсянникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались... Но после двух или трех сшибок с помещиками он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суэты». Раз как-то у него дом загорелся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! пожар!» – «Ну, чего же ты кричишь? – спокойно сказал Овсянников. – Подай мне шапку и костиль...» Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк<sup>24</sup> помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенок малолетний, – убьешься», – добродушно замечал ему Овсянников и через мгновение полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не

---

<sup>24</sup> Битюками, или сбитюками, называются особенной породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного «Хренового» (бывшего конного завода гр. Орловой). (Прим. И.С. Тургенева.)

ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь, — продолжал спокойным голосом Овсяников, поднимаясь с земли, — я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокого роста, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсяникова не было.

Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Радилова и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал четыри-минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял, по своему обыкновению, ласково и величаво. Мы пустились в разговор.

— А скажите-ка, Лука Петрович, правду, — сказал я между прочим, — ведь прежде, в ваше время, лучше было?

— Иное точно лучше было, скажу вам, — возразил Овсяников, — спокойнее мы жили; довольства больше было, точно... А все-таки теперь лучше; а вашим деткам еще лучше будет, Бог даст.

— А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете.

— Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы, примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет! Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется — авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся.

— А чего бы, например?

— А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, — да как вам своей земли не знать, — клинто, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш; весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье», — и завладел. Отец-то мой, покойник (Царство ему Небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, — да и кому охота свое добро терять? — и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой... Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишкой маленький, босиком за ними побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках.

Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо.

— А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополионыч. Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет да скажет по-французски «се бон»<sup>25</sup> да облизнется — хоть святых вон неси! По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли; а не поедешь — тотчас сам нагрянет... И такой странный был человек! В «тверезом» виде не лгал; а как выпьет — и начнет рассказывать, что у него в Питере три дома на Фонтанке: один красный с одной трубой, другой

---

<sup>25</sup> Это хорошо (от франц. c'est bon).

– желтый с двумя трубами, а третий – синий без труб, – и три сына (а он и женат-то не бывал): один в инфanterии, другой в кавалерии, третий сам по себе... И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму – генералы, а к младшему – все англичане! Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный!» – и заплачет. И беда, коли кто отказывается станет. «Застрелю! – говорит, – и хоронить не позволю!...» А то вскочит и закричит: «Пляши, народ Божий, на свою потеху и мое утешение!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют, и какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать – голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая! Покидают меня, голубчика!» Конюха тотчас девок и приободрят. Отец-то мой ему и полюбился: что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер: с голубятни в пьяном виде свалился... Так вот какие у нас соседушки бывали!

– Как времена-то изменились! – заметил я.

– Да, да, – подтвердил Овсяников. – Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне жили пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь.

– Вы были в Москве?

– Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году.

Овсяников вздохнул.

– Кого ж вы там видали?

– А многих вельмож видел, и всяк их видел; жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видел часто; дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был вельможа! Такой осанки, такого привета милости-вого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не войдешь к нему – боишься точно, робеешь; а войдешь – словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет; и такой ласковый – противника утешит, коня его похвалит. Голубей гурманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресла и прикажет голубков поднять; а кругом, на крышах, люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой; он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе жили... и сколько денег он передавал! А рассердится – словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что: смотришь – уж и улыбается. Пир задаст – Москву споит!.. И ведь умница был какой! Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил; силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет – наградит; а коли кто его поборет – задарит вовсе и в губы поцелует... А то, в бытность мою в Москве, затеял садку такую, какой на Руси не бывало: всех как есть охотников со всего царства к себе в гости пригласил и день назначил, и три месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей – ну, войско наехало, как есть войско! Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма-тьмувшая!.. И что вы думаете?.. Ведь вашего дедушки собака всех обскакала.

– Не Миловидка ли? – спросил я.

– Миловидка, Миловидка... Вот граф его и начал упрашивать: «Продай мне, дескать, твою собаку: возьми что хочешь». – «Нет, граф, говорит, я не купец: тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не Миловидку... Скорее себя самого в полон отдам». И Алексей Григорьевич его похвалил: «Люблю», – говорит. Дедушка-то ваш

ее назад в карете повез; а как умерла Миловидка, с музыкой в саду ее похоронил – псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил.

– Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, – заметил я.

– Да оно всегда так бывает: кто сам мелко плавает, тот и задирает.

– А что за человек был этот Бауш? – спросил я после некоторого молчания.

– Как же это вы про Миловидку слыхали, а про Бауша нет?.. Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше Миловидки. Отчаянный был человек, и что бы ваш дед ни приказал – мигом исполнит, хоть на нож полезет... И как порскал – так стон в лесу, бывало, и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет... И как только перестали собаки слышать его голос – кончено! Горячий след бросят, не погонят ни за какие благи. И-их, ваш дедушка рассердится! «Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника! Наизнанку антихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло притащу!» А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает? И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочет опять на славу.

– Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович?

– Любил бы... точно, – не теперь: теперь моя пора прошла – а в молодых годах... да знаете, неловко, по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно: и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоседится к господам... да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыклившую; то и дело шапку с него наземь бросают; арапником, будто по лошади, по нем задевают; а он все смеется да других смехи. Нет, скажу вам: чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь.

– Да, – продолжал Овсяников со вздохом, – много воды утекло с тех пор, как я на свете живу: времена подошли другие. Особенно в дворнях вижу я перемену большую. Мелкопоместные – все либо на службе побывали, либо на месте не сидят; а что покрупней – тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по слуху размежевания. И должен я вам сказать: сердце радуется, на них глядя: обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно: всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дела-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют: их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева, Александра Владимирыча, – чем не дворянин? Собой красавец, богат, в университетах обучался, кажется, и за границей побывал, говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете?.. Ну, так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку, по приглашению посредника, Никифора Ильича. И говорит нам посредник, Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться; это срам, наш участок от всех других отстал: приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится; поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирей... И из чего буйнит человек?.. У самого вершка земли нету: по поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет! меня вам не провести! нет, не на того наткнулись! Планы сюда! землемера мне подайте, христопродавца подайте сюда!» – «Да какое наконец ваше требование?» – «Вот дурака нашли! эка! Вы думаете: я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю?.. Нет, вы планы сюда подайте, – вот что!» А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитревну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» – «Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыле не желаю». Насилу мадерой отпили. Его успокоили, – другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирыч, сидит, мой голубчик, в углу, набалдашник на палке покусывает да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирыч, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирыч говорить желает». И нельзя не похвалить дворян: все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирыч, и говорит: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собирались; что хотя размежевание, бесспорно, выгодно для владельцев, но, в сущности, оно введено для чего? – для

того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности справлять; а то теперь он сам своей земли не знает и нередко за пять верст пахать едет, — и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирыч, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от Бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды — все едино: им хорошо — нам хорошо, им худо — нам худо... и что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков... И пошел, и пошел... Да ведь как говорил! за душу так и забирает... Дворяне-то все носы повесили; я сам, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает... А чем кончилось? Сам четырех десятин мохового болота не уступил и продать не захотел. Говорит: «Я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу, с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал: у меня на этот счет свои соображения...» И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимирыча, Карасиков Антон, поскучился королевскому приказчику сто рублей ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирыч по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает.

— А как он в своем имение распоряжается?

— Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, — да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирыч.

— Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины?

— Я — другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство?.. Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону — и то слава Богу! Молодые господа прежних порядков не любят: я их хвалю... Пора за ум взяться. Только вот что горе: молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают: поверят, поверят, поломают да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель, из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал: вот, мол, как надо распоряжаться!.. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру и новых порядков не увижу?.. Что за притча?

— Старое вымерло, а молодое не нарождается!

Я не знал, что отвечать Овсяникову. Он оглянулся, придинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса:

— А слыхали про Василья Николаича Любозвонова?

— Нет, не слыхал.

— Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики — что за диво! — Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, — пьян, не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, говорит, ребята! Бог вам в помощь». Мужики ему в пояс, — только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы русские; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа и кровь тоже русская...» Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался... И вот чему удивляться надо: бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одевались почтой что кучерами и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людышками, с крестьянами пировали; а ведь этот-то, Василий-то Николаич, словно красная девушка: все книги читает али пишет, а не то вслух канты произносит, — ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах

вовсе перетрусился: перед приездом Василья Николаича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, — видно, чуяла кошка, чье мясо съела! И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат! Ужо тебя к ответу потянут, голубчик; вот ты ужо напляшешься, жила ты этакой!..» А вместо того вышло — как вам доложить? Сам Господь не разберет, что такое вышло! Позвал его к себе Василий Николаич и говорит, а сам краснеет, и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул; а мужики к Василю Николаичу подступиться не смеют: боятся. И ведь вот опять что удивления достойно: и кланяется им барин, и смотрит приветливо, — а животы у них от страха так и подводят. Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарелся, что ли, — не понимаю.

Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен.

— Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, Бог с ним, окладистое, даром что молод... А впрочем, Господь ведает! (И Овсяников глубоко вздохнул.)

— Ну, в сторону дворян, — начал я, — что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович?

— Нет, уж вот от этого увольте, — поспешил проговорил он, — право... и сказал бы вам... да что! (Овсяников рукой махнул.) Станемте лучше чай кушать... Мужики, как есть мужики; а впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?

Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсяников важно и медленно выпивал чашку за чашкой.

— Митя был сегодня у нас, — вполголоса заметила Татьяна Ильинична.

Овсяников нахмурился.

— Чего ему надобно?

— Приходил прощенья просить.

Овсяников покачал головою.

— Ну, подите вы, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что прикажете делать с сродственниками? И отказаться от них невозможно... Вот и меня тоже Бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет; учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенной состоял — бросил службу: виши, ему ходу не было... Да разве он дворянин? И дворянин-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела... Да это бы еще куда ни шло, — а то в ябедники пустился! Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, сотских научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими да с дворниками на постоянных дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые и исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет: их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу... Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке? — прибавил он, обращаясь к жене. — Я ведь тебя знаю: ты ведь сердобольная такая, — покровительство ему оказываешь.

Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела.

— Ну, так и есть, — продолжал Овсяников... — Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти, — уж так и быть, ради дорогого гостя, прошу глупца... Ну, вели, вели...

Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!»

Митя, малый лет двадцати восьми, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский — российский портной.

— Ну, подойди, подойди, — заговорил старик, — чего стыдишься? Благодари тетку: прощен... Вот, батюшка, рекомендую, — продолжал он, показывая на Митю, — и родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена! (Мы друг другу поклонились.) Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются, сказывай.

Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне.

— После, дядюшка, — пробормотал он.

— Нет, не после, а теперь, — продолжал старик... — Тебе, я знаю, при господине помещике совестно: тем лучше — казнись. Изволь, изволь-ка говорить... Мы послушаем.

— Мне нечего стыдиться, — с живостью начал Митя и тряхнул головой. — Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: «Заступись, брат». — «Что такое?» — «А вот что: магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может; вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: «В беспорядке ваши магазины, упущеня важные, начальству обязан донести». — «Да в чем упущеня?» — «А уж про это я знаю», — говорит... Мы было собирались и решили: чиновника как следует отблагодарить, — да стариk Прохорыч помешал; говорит: этак их только разлакомишь. Что, в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой?.. Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу». — «Да точно ли у вас магазины в исправности?» — спрашиваю я. «Видит Бог, в исправности, и законное количество хлеба имеется...» — Ну, говорю, так вам робеть нечего», — и написал им бумагу... И еще неизвестно, в чью пользу дело решится... А что вам на меня по этому случаю нажаловались, — дело понятное: всякому своя рубашка к телу ближе.

— Всякому, да, видно, не тебе, — сказал стариk вполголоса... — А что у тебя там за каверзы с шутоломовскими крестьянами?

— А вы почему знаете?

— Стало быть, знаю.

— И тут я прав, — опять-таки извольте рассудить. У шутоломовских крестьян сосед Беспандин четыре десятины земли запахал. Моя, говорит, земля. Шутоломовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал — кому за них заступиться, сами посудите? А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят: напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал: «Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу...» Посмотрим, как-то он ее снесет: до сих пор цела.

— Ну, не хвастайся: несдобровать ей, твоей голове, — промолвил стариk, — человек-то ты сумасшедший вовсе!

— А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили...

— Знаю, знаю, что ты мне скажешь, — перебил его Овсяников, — точно: по справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен... Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? не поят тебя, не кланяются, что ли: «Дмитрий Алексеич, — дескать, — батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим», — да целковенький или синенький из-под полы в руку? А? не бывает этого? сказывай, не бывает?

— В этом я точно виноват, — отвечал, потупившись, Митя, — но с бедных я не беру и душой не кривлю.

— Теперь не берешь, а самому придется плохо — будешь брать. Душой не кривишь... эх, ты! Знать, за святых все заступаешься!.. А Борьку Переходова забыл?.. Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а?

— Переходов по своей вине пострадал, точно...

— Казенные деньги потратил... Шутка!

— Да вы, дядюшка, сообразите: бедность, семейство...

— Бедность, бедность... Человек он пьющий, азартный — вот что!

— Пить он с горя начал, — заметил Митя, понизив голос.

— С горя! Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, — вишь, невидаль какая!

— Человек-то он добрейший...

— У тебя все добрые... А что, — продолжал Овсяников, обращаясь к жене, — послали ему... ну, там, ты знаешь...

Татьяна Ильинична кивнула головой.

— Где ты эти дни пропадал? — заговорил опять старик.

— В городе был.

— Небось все на биллиарде играл да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатах просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял? Так ведь?.. Сказывай!

— Оно, пожалуй, что так, — с улыбкой сказал Митя... — Ах, да! чуть было не забыл: Фунтиков, Антон Парфенович, к себе вас в воскресенье просит откушать.

— Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем!

— А то я Федосью Михайловну встретил.

— Какую это Федосью?

— А Гарпенченки помещика, вот что Микулино сукциону купил. Федосья-то из Микулина. В Москве на оброке жила в швеях и оброк платила исправно, сто восемьдесят два рубля с полтиной в год... И дело свое знает: в Москве заказы получала хорошие. А теперь Гарпенченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Гарпенченкой-то знакомы, — так не можете ли вы замолвить ему словечко?.. А Федосью выкуп за себя даст хороший.

— Не на твои ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, — продолжал старик с недовольным лицом, — этот Гарпенченко, прости Господи, жила: векселя скупает, деньги в рост отдает, именья с молотка приобретает... И кто его в нашу сторону занес? Ох, уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься, — а впрочем, посмотрим.

— Похлопочите, дядюшка.

— Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся... Бог с тобой, Бог с тобой!.. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, несдобровать тебе, — ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить... я и сам человек неластный. Ну, ступай теперь с Богом.

Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним.

— Напой его чаем, баловница, — закричал ей вслед Овсяников... — Неглупый малый, — продолжал он, — и душа добрая, только я боюсь за него... А впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал.

Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртуке.

— А, Франц Иваныч! — вскрикнул Овсяников. — Здравствуйте! как вас Бог милует?

Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином.

Франц Иваныч Лежень (Lejeune), мой сосед и орловский помещик, не совсем обычновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане, от французских родителей, и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России, в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой, но на возвратном пути бедный m-r Lejeune, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби, возле плотины, и начали просить барабанщика «de la grande armée»<sup>26</sup> уважить их, то есть нырнуть под лед. M-r Lejeune не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужиков, на французском диалекте,

---

<sup>26</sup> Великой армии (*франц.*).

отпустить его в Орлеан. «Там, messieurs, – говорил он, – мать у меня живет, une tendre mère»<sup>27</sup>. Но мужички, вероятно, по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Леженя, раздался звук колокольчика и на плотину взъехали огромные сани с пестрыйшим ковром на преувеличенно-возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вяток. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе.

– Что вы там такое делаете? – спросил он мужиков.

– А францюзя топим, батюшка.

– А! – равнодушно возразил помещик и отвернулся.

– Monsieur! Monsieur! – закричал бедняк.

– А, а! – с укоризной заговорила волчья шуба. – С двунадесятю язык на Россию шел, Москву сжег, окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь – мусье, мусье! а теперь и хвост поджал! По делам вору и мука… Пошел, Филька-а!

Лошади тронулись.

– А, впрочем, стой! – прибавил помещик…

– Эй ты, мусье, умеешь ты музыке?

– Sauvez moi, sauvez moi, mon bon monsieur!<sup>28</sup> – твердил Лежень.

– Ведь вишь народец! и по-русски-то ни один из них не знает! Мюзик, мюзик, савэ мюзик ву? савэ? Ну, говори же! Компренэ? савэ мюзик ву? на фортепьяно жуэ савэ?

Лежень понял наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой.

– Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue de tous les instruments possibles! Oui, monsieur… Sauvez moi, monsieur!<sup>29</sup>

– Ну, счастлив твой Бог, – возразил помещик… – Ребята, отпустите его; вот вам двугривенный на водку.

– Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Леженя посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарили помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям.

– Вот, дети, – сказал он им, – учитель вам сыскан. Вы все приставали ко мне: выучи-де нас музыке и французскому диалекту: вот вам и француз, и на фортопьянах играет… Ну, мусье, – продолжал он, указывая на дрянные фортепьянчики, купленные им за пять лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном, – покажи нам свое искусство: жуэ!

Лежень с замирающим сердцем сел на стул: он отроду и не касался фортепьян.

– Жуэ же, жуэ же! – повторял помещик.

С отчаяньем ударил бедняк по клавишам, словно по барабану, заиграл как попало… «Я так и думал, – рассказывал он потом, – что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дома». Но, к крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо, – промолвил он, – вижу, что знаешь; поди теперь отдохни».

Недели через две от этого помещика Лежень переехал к другому, человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице,

---

<sup>27</sup> Нежная мать (франц.).

<sup>28</sup> Спасите меня, спасите меня, добрый господин! (франц.)

<sup>29</sup> Да, сударь, да, да, я музыкант; я играю на всевозможных инструментах! Да, сударь… Спасите меня, сударь! (франц.)

поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел.

Вот этот-то самый Лежень, или, как теперь его называют, Франц Иваныч, и вошел при мне в комнату Овсяникова, с которым он состоял в дружественных отношениях...

Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я красноречиво умолкаю.

## Льгов

— Поедемте-ка в Льгов, — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай, — мы там уток настреляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому — майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.

— Нет, — промолвил наконец Ермолай, — дело неладно: надо достать лодку... Пойдемте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-дelen<sup>30</sup> или бле-д-амур<sup>31</sup>, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро переверталась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, — небольшие карие глазки приветливо моргали, — все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать, — начал он мягким и вкрадчивым голосом, — я здешний охотник Владимир... Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.

Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущеный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал

---

<sup>30</sup> Розовато-серого (от франц. gris de lin).

<sup>31</sup> Голубовато-серого (от франц. bleu d'amour).

заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно: особенно шла к нему скромная,держанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с...»

— Зачем вы повязаны платком? — спросил я его. — Зубы болят?

— Нет-с, — возразил он, — это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с, в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать — в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу; достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник<sup>32</sup>, — заметил Владимир, — да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.

— К кому? — спросил я.

— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «Ci gît Théophile Henri, vicomte de Blangy»<sup>33</sup>; на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а на четвертой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;  
Породу знатную имел он и талант,  
Супругу и семью оплакав избиянну,  
Покинул родину, тиранами попранну;  
Российских страны достигнув берегов,  
Обрел на старости гостеприимный кров;  
Учил детей, родителей покоил...  
Всевышний судия его здесь успокоил...

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом, — да больно плоха.

— А что?

---

<sup>32</sup> Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок. (Прим. И.С. Тургенева.)

<sup>33</sup> Здесь покоятся Теофиль Анри, граф Бланжи (франц.).

- Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.
- Велика беда! – подхватил Ермолай. – Паклей заткнуть можно.
- Известно, можно, – подтвердил Сучок.
- Да ты кто?
- Господский рыболов.
- Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?
- Да в нашей реке и рыбы-то нету.
- Рыба не любит ржавчины болотной, – с важностью заметил мой охотник.
- Ну, – сказал я Ермолаю, – поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.
- Ермолай ушел.
- А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? – сказал я Владимиру.
- Бог милостив, – отвечал он. – Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок.
- Да, он не глубок, – заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья, – да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины<sup>34</sup>.
- Однако же, если трава так сильна, – заметил Владимир, – так и гребсти нельзя будет.
- Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, – а то и лопатой можно.
- Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, – сказал Владимир.
- Оно правда, что неловко.
- Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.
- Скажи, пожалуйста, – начал я, – давно ты здесь рыбаком?
- Седьмой год пошел, – отвечал он, встрепенувшись.
- А прежде чем ты занимался?
- Прежде ездил кучером.
- Кто ж тебя из кучеров разжаловал?
- А новая барыня.
- Какая барыня?
- А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофеевна, толстая такая… немолодая.
- С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?
- А Бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает… А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». – «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбреи. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?..» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке…» А как его содержать в порядке?
- Чьи же вы прежде были?
- А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследству ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть лет. У него-то вот я кучером и ездил… да не в городе – там у него другие были, а в деревне.
- И ты смолоду все был кучером?

---

<sup>34</sup> Глубокое место, яма в пруде или реке. (Прим. И.С. Тургенева.)

— Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, — но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого ж ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследству досталось.

— У кого купил?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот, что в запрошлом году умерла, под Волковым... то бишь под Каравечевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеныча. Она-таки долгонько нами владела... годиков двадцать.

— Что ж, ты и у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал.

— Во что?

— В кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказала изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время был кофишенком?

— Нет, не все время: был и ахтером.

— Неужели?

— Как же, был... на кеяtre играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

— Чего изволите-с?

— Что ты делал на театре?

— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори, я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!

— А потом чем был?

— А потом опять в повара поступил.

— За что же тебя опять в повара разжаловали?

— А брат у меня сбежал.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

— Доезжачим?.. И с собаками ездил?

— Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.

— Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?

— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.

— Какое ж тут ученье в двадцать лет?

— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, — меня в деревню и вернули.

— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.

— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!

— Ну, — промолвил я, — видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава Богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Был женат?

— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — Царство ей Небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани Бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»

— Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе, Господи! много доволен. Продли Бог века нашей госпоже!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка, — произнес он сурово. — Ступай за шестом — ты!..

Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

— Глупый человек-с, — промолвил он, когда тот ушел, — совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстрелянных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рыси глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утища!» — и то и дело почесывал спину — не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало,

пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, — как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновенье мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

— Тыфу ты, пропасть! — пробормотал он, плюнув в воду, — какая оказия! А все ты, старый черт! — прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. — Что это у тебя за лодка?

— Виноват, — пролепетал старик.

— Да и ты хорош, — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, — чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты...

Но Владимиру было уже не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» — подумал я.

— Как нам быть? — спросил я Ермолая.

— А вот посмотрим: не ночевать же здесь, — ответил он. — На, ты, держи ружье, — сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

— Пойду същу брод, — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, — взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. — Да ты умеешь ли плавать? — спросил я его.

— Нет, не умею, — раздался его голос из-за тростника.

— Ну, так утонет, — равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.

— И без всякой пользы пропадет-с, — жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Был на берегу; брод нашел... Пойдемте.

Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, — тут направо колдобина!» или: «Правей, — тут налево завязнешь...» Иногда вода дохо-

дила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну, ну, ну!» – грозно кричал на него Ермолай, – и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли наконец берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсущенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с осторожением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни.

## Бежин луг

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает землемер для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! – подумал я, – да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Параминские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! вон

это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечернимиарами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, — одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угремый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших, белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле друга два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушибках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканием и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ноги, скачет какой-нибудь рыжий косматч, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсели к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полу-веселой, полуразсиянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внахидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги – не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело привлекательное, неуклюжее. Малый был неказистый, – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портв. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками

то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заостreno, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смиренхонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки», Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опервшись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно шурился. Костя понурил немнога голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал... Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне<sup>35</sup>.

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках стоим<sup>36</sup>.

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и начал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-то, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завернется; но а заставки у дворца-то<sup>37</sup> спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спускаться стал, и этак слушается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма<sup>38</sup> зашевелилась,

<sup>35</sup> «Рольней», или «черпальней», на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом. (Прим. И.С. Тургенева.)

<sup>36</sup> «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу. (Прим. И.С. Тургенева.)

<sup>37</sup> «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо. (Прим. И.С. Тургенева.)

<sup>38</sup> Сетка, которой бумагу черпают. (Прим. И.С. Тургенева.)

поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишик! — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости. Все помолчали.

— А что, — спросил Федя, — картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сырьи... Вишик, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, — пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, — а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, Господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеялась перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваюсь буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор он все невеселый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчания, — да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортировать, — он же ее не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

— Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя.

— Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стоящий звук, один из тех непонятныхочных звуков, которые возникают иногда среди глубокой

тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила! — шепнул Илья.

— Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли<sup>39</sup> водятся.

— Ну, что такое случилось? сказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермилу; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенъкий, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, — что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла привнесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжиная, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

---

<sup>39</sup> По-орловскому: змеи. (Прим. И.С. Тургенева.)

— Их всегда здесь много, — отвечал Павел, — да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Сядясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивал головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). — Да и собак тут нелегкая дернула залаять… А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч… Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон…

— Виши какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил.

— Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всякий час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья… — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала… только все как будто собачка этак залаает, залаает где-то… Вдруг смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет…

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает… А узнала его Ульяна… Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядывается, вглядывается, — ах ты, Господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнявши обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился, — заметил Павел. — Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша, — промолвил Костя, — не праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

– Может быть, – проговорил он наконец.

– А скажи, пожалуй, Павлуша, – начал Федя, – что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?<sup>40</sup>

– Как солнца-то не стало видно? Как же.

– Чай, напугались и вы?

– Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопреставление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку<sup>41</sup> увидят.

– Какого это Тришка? – спросил Костя.

– А ты не знаешь? – с жаром подхватил Ильюша. – Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка – эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дублем, оцепят его, но а он им глаза отведет – так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, – он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковщик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется – они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ христианский… ну, а сделать ему нельзя будет ничего… Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

– Ну да, – продолжал Павел своим неторопливым голосом, – такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и началось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят – вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная… Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» – да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дверную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли…

Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее…

Костя вздрогнул. «Что это?»

---

<sup>40</sup> Так мужики называют у нас солнечное затмение. (Прим. И.С. Тургенева.)

<sup>41</sup> В поверье о «Тришке», вероятно, отзывалось сказание об антихристе. (Прим. И.С. Тургенева.)

— Это цапля кричит, — спокойно возразил Павел.

— Цапля, — повторил Костя... — А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, — прибавил он, помолчав немного, — ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью<sup>42</sup> выходит, — там ведь есть бучило<sup>43</sup>; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, — заметил Павлуша, — так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... — Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) Эк ее! — невольно произнес Костя, — словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой, — подхватил Ильюша, — он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани Бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, окутанный, этак словно за деревом, хорошенъко не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, — пфу!..

— И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел. — Не понимаю, право!

— Не бранись, смотри, услышит, — заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на Божьи звездочки, — что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее лицо из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что, твоя сестра Анютка здоровая?

— Здорова, — отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — что она к нам, отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

---

<sup>42</sup> Сугибель — крутой поворот в овраге. (Прим. И.С. Тургенева.)

<sup>43</sup> Бучило — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. (Прим. И.С. Тургенева.)

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

— Куда ты? — спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором иечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят, — продолжал Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

— От того самого.

— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.

— Какого Васю? — спросил Федя.

— А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, Господь знает. Играли на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глянь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утонул; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то все такую песенку певал, — вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалится...

— А вот Павлуша идет, — молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты, Господи! ах ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, перед рассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, — в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

## Касьян с Красивой Мечи

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес, – как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими, волнобразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханные холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства; вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнаженными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника – дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плонул.

– Что там такое? – спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

– Да что такое?

– Ось сломалась… перегорела, – мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было набок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу.

– Что теперь делать? – спросил я наконец.

– Вон кто виноват! – сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам, – уж я всегда это замечал, – продолжал он, – это примета верная – встретить покойника… Да.

И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решилась остаться неподвижною и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного назад и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины

лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача; поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

– Это Мартына-плотника хоронят, – заговорил он, – что с Рябой.

– А ты почему знаешь?

– Я по бабам узнал. Старая-то – его мать, а молодая – жена.

– Он болен был, что ли?

– Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посыпал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Виши, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабы слезы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

– Однако, – заметил я, – что ж нам делать?

Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седелку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу – подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекосил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

– Ну, что? – проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

– Куда же ты? – спросил я его не без изумления.

– Извольте садиться, – спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

– Да как же мы поедем?

– Уж поедем-с.

– Да ось...

– Извольте садиться.

– Да ось сломалась...

– Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберемся... шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, Юдиными прозываются.

– И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом. – Я лучше пешком пойду, – сказал я.

– Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, черная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев – никто не отвечал мне. Я кликнул еще раз: голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого

не было... В загородке теленок промычал; хромой серый гусь отковылял немнога в сторону. Я перешел во вторую избу — и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворечнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить...

Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? что такое?» — забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

— Что надо? — спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чем было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец, — я бы с удовольствием заплатил.

— А вы кто такие? Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.

— Охотники.

— Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам Божих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

— Оси у меня нет, — прибавил он после небольшого молчания, — эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

— А в деревне найти можно?

— Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте, — промолвил он вдруг и лег опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

— Послушай, стариk, — заговорил я, коснувшись до его плеча, — сделай одолжение, помоги.

— Ступайте с Богом! Я устал: в город ездил, — сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

— Да сделай же одолжение, — продолжал я, — я... я заплачу.

— Не надо мне твоей платы.

— Да пожалуйста, стариk...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки<sup>44</sup>. Тут у нас купцы рощу купили, — Бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, Бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

— И прекрасно! — радостно воскликнул я. — Прекрасно!.. пойдем.

— Дубовую ось, хорошую, — продолжал он, не поднимаясь с места.

— А далеко до тех ссечек?

---

<sup>44</sup> Срубленное место в лесу. (Прим. И.С. Тургенева.)

- Три версты.
- Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать.
- Да нет...
- Ну, пойдем, – сказал я, – пойдем, стариk! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа: он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело... Однако при виде старика он ослабился, закивал головой и воскликнул:

- А, Касьянушка! здорово!
- Здорово, Ерофей, справедливый человек! – отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, стариk стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

- А разве и тебя переселили? – спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.
- И меня.
- Эк! – проговорил мой кучер сквозь зубы. – Знаешь, Мартын-то, плотник... ты ведь рябовского Мартына знаешь?

- Знаю.
- Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.
- Касьян вздрогнул.
- Умер? – проговорил он и потупился.
- Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.
- Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком.
- А это твоя телега, что ли? – прибавил он, указывая на нее плечом.
- Моя.
- Ну, телега... телега! – повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном... – Телега!.. А на чем же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие, а это что такое?

– А не знаю, – отвечал Касьян, – на чем вы поедете; разве вот на этом животике, – прибавил он со вздохом.

– На этом-то? – подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею. – Ишь, – прибавил он с укоризной, – заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке, – Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал:

– И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

– Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять... А что, Блоха, – прибавил он громко, – что, у вас хлебушком можно разжиться?

– Поищи, может, найдется, – отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя.

Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладкоплутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне.

- А что, пташек стрелять идешь? – заговорил он, – а?
- Да, если найду.
- Я пойду с тобой... Можно?
- Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на осечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок<sup>45</sup> полетел, чиликая, у него из-под ног – он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая, – Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал...

Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде; но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлинного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы иван-да-мары; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками, – другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется, – все весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников, – обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные, – и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня; он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли.

---

<sup>45</sup> Молодой перепел. (Прим. И.С. Тургенева.)

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.